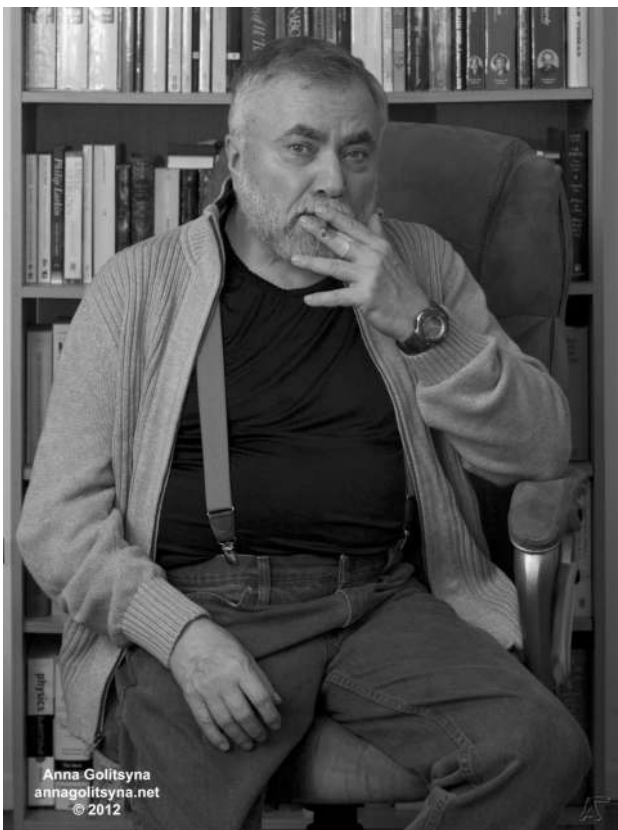


Семнадцать лет назад, в период страстного увлечения философией Гуссерля и подробного ее обсуждения с Алешей, мне пришло в голову, что и цветковская поэтика частично вытекает из «Картезианских размышлений» (недаром «Я в руки брал то Гуссерля, то Канта/ и пел с листа...»). Я поделился своими размышлениями (отнодью не картезианскими) с Цветковым, они пришлись ему по душе, и я законспектировал их в коротком эссе для журнала «Интерпоэзия». Вот что там говорилось:

«Поэтическую родословную Алексея Цветкова проследить нелегко: его стихи «растут из самих себя». Однако, если поискать за пределами поэзии как таковой, можно обнаружить некоторые параллели между поэтикой Цветкова и «интенциональной» философией Brentano и Гуссерля. В основе этой философии лежит поиск аподиктической точки отсчета; за скобки выносятся все, в чем можно усомниться: «объективная» реальность, религиозная догматика, устоявшиеся нормы поэтической речи. После такой феноменологической редукции, остается лишь существование мыслящего субъекта (картезианское *cogito ergo sum*), но это существование предполагает не только саму мысль (*cogito*), но также и то, на что направлен ее вектор — горизонт интенциональных объектов. Этот горизонт Цветков и выстраивает в своих стихах. Введение интенциональности отменяет дихотомию «реальный объект — объект в уме»: визуально воспринимаемый образ и образ, восстанавливаемый в памяти, — две стороны одного многогранника. По мере того, как тот или иной образ конституируется в сознании, количество граней стремится к бесконечности. С точки зрения наблюдателя (мыслящего субъекта), в определенный момент эти грани начинают как бы стираться (многогранник становится шаром). Отсюда — стихи без пунктуации и присущая Алексею Цветкову двойственность синтаксиса. Интересно, что отказываясь от синтаксических ограничений, Цветков полностью сохраняет жесткую ритмическую структуру: подавляющая часть стихотворений написана размерами традиционной силлабо-тоники или, в крайнем случае, строгой силлабики. Иными словами, когда в процессе редукции вычленялось аподиктическое «ego» поэзии, эта классическая ритмика оказалась его неотъемлемой составляющей. Или — по аналогии с порфириевым древом — самим «стволом». Для Гуссерля феноменология была попыткой вернуть к жизни основы философии, давно ставшие условностью (недаром он возвращается к «эйдосам»): что бы ни говорили релятивисты всех времен, абсолюты (абсолютная красота, абсолютная истина) существуют, но их нужно заново определить — «начинать тебе отче с аза». У Цветкова это способ вернуть к жизни традиционную поэзию, заново изобретая ее язык».

Сейчас, перечитывая это давнее эссе, я понимаю, что упустил один ключевой момент. Я пишу о сложной продуманности цветковского подхода к поэзии, о фундаментальности задач, которые он перед собою ставил. Но я не беру



Алексей Цветков. Фото Анны Голицыной, 2012

в расчет другую, не менее важную составляющую его поэтики: легкость. Причем речь не только о легкости, с какой написаны его стихи, хотя и она впечатляет (он писал «залпом», в один присест, и практически никогда не правил), но и о той легкости, с какой он расставался со своими творениями. Выбрасывал, терял и никогда по этому поводу особенно не расстраивался. «Мне проще выбросить и написать новое, чем редактировать уже написанное». Кажется бы, серьезность и масштабность задуманного им проекта («феноменологическая редукция», обновление поэтического языка) никак не вяжутся с этой чуть ли не дилетантской легкостью. На самом же деле, она, легкость, стройно вписывалась в общую концепцию.

*«Помнишь, у тебя/ (у нас, пожалуй) был прием/ самооценки: если перечтя/ свои стихи по истеченье года/ с момента авторства, находишь их/ хотя бы сносными — затей другую/ карьеру...»*

Серьезность проявлялась по отношению к сверхзадаче, сформулированной им еще в самом начале творческого пути, а не к отдельным произведениям. Чрезмерная привязанность к частностям мешает видеть целое; тот, кто придает слишком большое значение промежуточным результатам, рискует застрять на полпути. Отсюда же и отношение к литературной славе: погоня за славой плоха не потому, что «быть знаменитым некрасиво», а просто потому, что она отвлекает от более серьезных задач. «Вот скажи, Алеша, ты считаешь себя знаменитостью?» — спросил его в ходе шутливой застольной беседы кто-то из нашей компании. «Знаменитостью — нет, но вообще я причастен к миру селебрити, — похвастался Цветков. — Сейчас я вас всех ошарашу. Мой дядя — Иосиф Кобзон. Теперь вы знаете, с кем сидите за одним столом».